

ТЭФФИ

*Ведьма*



Надежда Тэффи

**Исповедь**

«Public Domain»

**Тэффи Н.**

Исповедь / Н. Тэффи — «Public Domain»,

# Содержание

\* \* \*

5

# Надежда Тэффи

## Исповедь

\* \* \*

Первая неделя Великого поста.

Петь не позволяют, прыгать тоже нельзя.

Куклы убраны в шкаф и смотрят через стекло испуганными круглыми глазами на мои муки: сегодня, в четыре часа, меня в первый раз поведут на исповедь.

Нянька завтракает, – ест гороховый кисель с постным маслом, – блюдо очень вкусное на вид и очень скверное на вкус. Я уже много раз просила попробовать, все надеюсь, что, авось, теперь оно мне понравится.

На душе у меня очень худо. Боюсь. Вчера нянька, убеждая меня не рвать чулки на коленках, не ездить верхом на стульях и вообще бросить разнузданный образ жизни, прибавила:

– Вот уж пойдешь к исповеди; запряжет тебя поп в телегу да заставит вокруг церкви возить.

Я, конечно, не уронила своего достоинства и сказала, что для меня это сущие пустяки, – возить так возить, но стало мне очень тревожно.

Чулки и верховая езда, – я это прекрасно понимала, – невелики грехи, но водилась за мной штучка и похуже – самый настоящий грех, который даже в заповедях запрещен: кража.

Случился этот грех очень просто. Подошла я к нянькиному окошку, гляжу, а на окошке какая-то круглая ватрушка, а сбоку из нее варенье сквозит. Захотелось посмотреть, неужели же она вся вареньем набита. Ну, и посмотрела. К концу осмотра, когда дело уже окончательно выяснилось, от ватрушки оставался такой маленький огрызок, что ему даже некрасиво было на окошке лежать. Пришлось доесть насильно.

Нянька долго удивлялась, куда могла деться ватрушка, а я сидела тихо за столиком и низала бисерное колечко. Только когда нянькина мысль, ударившись о тупик, вдруг наскочила на меня, я решила направить ее на ложный путь.

– Я думаю, нянюшка, что это ее домовый съел.

С домовым у няньки были старые счеты. Он частенько рассыпал ее иголки, плевал в печку, чтобы дрова не разгорались, а то и еще обиднее: подсунет ей наперсток под самый нос, а глаза отведет, и ползает нянька, шарит и под постелью, и под комодом, и не может найти наперстка, пока домовый всласть не наиграется.

История с ватрушкой так и осталась невыясненной, и сама я давно погребла ее под пластами новых преступлений более мелкого калибра, но теперь, перед исповедью, вспомнила все и ужаснулась.

Главное было ужасно, что я не только украла, но еще и свалила грех на другого, на ни в чем не повинного домового. Все утро предавалась я печальным размышлениям, а после завтрака пришла шестипалая баба-судомойка и поклонилась няньке в пояс три раза, приговаривая:

– Простите раз! Простите два! Простите три!

Потом подошла с тем же и ко мне.

Нянька ответила: «Бог простит». Я поняла, что и мне нужно ответить так же, да уж очень чего-то стыдно стало. А когда нянька укорила меня за молчание, я придумала очень неудачное оправдание:

– Не могу я ей отвечать.

– Это отчего же не можешь-то?

– Оттого, что я есть хочу.

Вышло так глупо, что я тут же всплакнула, чтобы хоть слезами сдобрить немножко эту ерунду.

Перед тем, как идти в церковь, повели меня в классную комнату и велели с христианским смирением попросить прощения у старших сестер и их гувернантки.

Гувернантка, толстая усатая француженка, по многим причинам не любившая, когда я появлялась в ее владениях, спросила строго:

– А вам что здесь угодно?

Я сделала реверанс и сказала, забивая в рот три пальца, чтобы не так было совестно.

– Madame, pardonnez moi, je vous en prie<sup>1</sup>. Гувернантка покрутила глазами, стараясь понять, что я натворила и за что нужно меня бранить; но, когда сестра объяснила, в чем дело, она вдруг впала в чисто французское умиление и, подняв руки, воскликнула:

– Oh! Oh! Je te pardonne, ma fille.<sup>2</sup>

Это было уж слишком! Она, чужая гувернантка, власть которой, строго ограниченная, могла простирается только на старших сестер, и вдруг смеет говорить мне «ты», да еще называть дочерью.

Смирение мое мгновенно сменилось самым бешеным негодованием.

– Как ты смеешь, дурища, говорить мне «ты»?

\* \* \*

В церкви было пусто.

Темные старухи лепились у стенки, гулко вздыхали, маленькие, горбатенькие, семенили суетливо за сторожем, расспрашивали что-то шлепающим беззубым шепотом, звякали медяками.

Вот кто-то спешно прошел, застучав каблуками, мимо коврика по каменным плитам; отдалось, загудело, пронеслось стоном к куполу.

«Грешная! Грешная!» – думаю я и слышу, как стучит что-то в левом виске, и вижу, как дрожит согнувшаяся от теплой моей руки свечка.

«Грешная! Грешная! Как признаюсь? Как расскажу? И разве можно все это рассказывать? Батюшка и слушать не станет».

Стою у самой ширмочки. Чей-то тихий и мирный голос доносится оттуда. Не то батюшка говорит, не то высокий бородач, стоявший передо мной в очереди.

– Сейчас мне идти! Ах, хоть бы тот подольше поисповедывался. Пусть бы у него было много грехов. Ведь бывают люди, например, разбойники, у которых так много грехов, что за целую жизнь не расскажешь. Он все будет каяться, каяться, а я за это время и умру.

Но тут мне приходит в голову, что умереть без покаяния тоже нехорошо, и как быть – не знаю. За ширмой слышится шорох, потом шаги. Выходит высокий бородач. Я едва успеваю удивиться на его спокойный вид, как меня подталкивают к ширме, и вот я уже стою перед священником.

От страха забыла все. Думаю: только бы не заплакать.

Слышу вопросы, понимаю плохо, отвечаю сама не знаю что и чувствую, как губы опускаются вниз – только бы не заплакать!

– Сестер не обижаешь?

– Грешная, обижаю.

– А братьев?

---

<sup>1</sup> – Мадам, простите меня, пожалуйста (*фр.*).

<sup>2</sup> – О! О! Я прощаю тебя, дочь моя (*фр.*).

– Братьев?

Ну, как я скажу, что и братьев обижаю. Ведь это же ужас! Лучше молчать. Да и брат у меня всего один, да и тот меня бил линейкой по голове за то, что я не умела говорить, как у них в корпусе, «здравия желаю!».

Лучше уж помолчать.

Пахнет ладаном, торжественным и ласковым. Батюшка говорит тихо, не бранит, не попрекает. Как быть насчет нянькиной ватрушки? Неужели не скажу? А если сказать, то как сказать? Какими словами?

Нет, не скажу.

На высоком столике выше моего носа блестит что-то. Это, верно, крест.

Как стану я при кресте рассказывать про ватрушку? Так стыдно, так просто и некрасиво.

Вот еще спросил что-то священник. Я уже и не слышу, что. Вот он пригнул мне голову, покрывает ее чем-то.

– Батюшка! Батюшка! Я нянину ватрушку съела. Это я съела. Сама съела, а на другого свалила.

Дрожу вся и уж не боюсь, что заплачу, уж ничего не боюсь.

Со мной все теперь кончено. Был человек, и нет его! Щекочет что-то щеку, задело уголок рта. Соленое. А что же батюшка молчит?

– Нехорошо так поступать. Не следует! – Еще говорит, не слышу, что. Выхожу из-за ширмы.

Встать бы теперь перед иконой на колени, плакать, плакать и умереть. Теперь хорошо умереть, когда во всем покаялась.

Но вот подходит нянька. Лицо у нее будничное, всегдашнее. Чего она смотрит? Еще расскажет дома, что я плакала, а потом сестры дразнить станут.

Я отвертываюсь, крепко тру платком глаза и нос.

– И не думала плакать. Чего ради?